

И. Бродский

## Скорбная муза

[Из предисловия к сборнику стихов Ахматовой в английском переводе. (Нью-Йорк, 1983)]

Ахматова относится к тем поэтам, у кого нет ни генеалогии, ни сколько-нибудь заметного «развития». Такие поэты, как она, просто рождаются. Они приходят в мир с уже сложившейся дикцией и неповторимым строем души.

Божественная неповторимость личности в данном случае подчеркивалась ее потрясающей красотой. От одного взгляда на нее перехватывало дыхание. Высокую, темноволосую, смуглую, стройную и невероятную гибкую, с бледно-зелеными глазами снежного барса, ее в течение полувека рисовали, писали красками, ваяли в гипсе и мраморе, фотографировали многие и многие, начиная от Амадео Модильяни. Стихи, посвященные ей, составили бы больше томов, чем все ее сочинения.

Внешняя сторона ее «Я» ошеломляла. Скрытая сторона натуры полностью соответствовала внешности, что доказали стихи, затмившие одно и другое.

От ее речи неотделима властная сдержанность. Ахматова — поэт строгих ритмов, точных рифм и коротких фраз. Синтаксис ее прост, не перегружен придаточными конструкциями... По грамматической простоте ее язык родственен английскому. Среди своих современников она — Джейн Остин, и, если речи ее темны, виной тому не грамматика.

Ее оружием было сочетание несочетаемого. В одной строфе она сближает, на первый взгляд, совершенно не связанные предметы. Когда героиня на одном дыхании говорит о силе чувства, цветущем крыжовнике и на правую руку надетой перчатке с левой руки, дыхание стиха — его размер — сбивается до такой степени, что забываешь, каким он был изначально. Рифмы у нее легки, размер нестесняющий.

...Надо ли говорить, как вовремя пришли к читателю ее стихи; поэзия больше других искусств школа чувства, и строки, ложившиеся на душу читавшим Ахматову, закаляли их души для противостояния натиску пошлости. Сопереживание личной драме прибавляет стойкости участникам драмы и истории.

Ахматова услышала его загодя: глубоко личный лиризм «Белой стаи» уже отделил мотив, вскоре ставший с ней неразлучным,— мотив подспудного ужаса... С выходом сборника русская поэзия вошла в «настоящий, не календарный, двадцатый век» и устояла при столкновении.

В отличие от большинства современников, Ахматова не была застигнута врасплох происшедшим. К моменту революции ей уже исполнилось двадцать восемь — слишком много, чтобы поверить, и слишком мало, чтобы оправдать. Будучи женщиной, она полагала, что ей не следует ни прославлять, ни проклинать совершившееся.

...Она не отвернулась от революции, не встала в позу судии. Она смотрела на мир трезво и видела неукротимый народный взрыв, несущий каждому отдельному человеку небывалое количество бед и горя... Ахматова, тяготевшая в стихе к народному говору, к ладу народной песни, не отделяла себя от народа с гораздо большим правом, чем тогдашние глашатаи литературных и прочих манифестов: она разделяла с народом горе.

...Наверное, в истории России не было страшней пятнадцати предвоенных лет. Не было чернее их и в жизни Ахматовой. Жизнь в те годы, или точнее, множество оборванных тогда жизнью, увенчали ее музу венком скорби. Стихи о любви уступили место стихам памяти мертвых. Из поэтического образа смерть перешла в разряд прозы жизни.

...В ее тогдашних стихах слышен стон: навязчивым повторением рифмы, сбивчивой строчкой, перебивающей гладкое течение речи, — но те стихи, где говорилось напрямую о чьей-то смерти, свободны от этого. Она как бы опасается оскорбить погибших потоками слез, и в опасении открыто встать рядом с ними слышится отзвук ее любовных стихов... Она не обобщает покойных, а говорит детально о каждом. Она обращается к меньшинству, к которому ей причислить себя легче, чем к большинству.

...Подобные стихи, естественно, не могли быть опубликованы и даже перепечатаны и записаны. Они хранились в памяти автора и еще нескольких человек для пущей сохранности. Время от времени она производила переучет: ей наизусть читали те или иные отрывки. Она не так боялась за себя, как за сына, которого в течение восемнадцати лет пыталась выволить из лагерей. Клочок бумаги мог обойтись слишком дорого, ему дороже, чем ей, потерявшей все, кроме последней надежды и рассудка. Они оба недолго прожили бы, попадись властям в руки «Реквием». На сей раз стихи бесспорно автобиографичны, но сила их вновь в обычности биографии Ахматовой. «Реквием» оплакивает скорбящих: мать, потерявшую сына, жену, потерявшую мужа; Ахматова пережила обе драмы. В этой трагедии хор гибнет раньше героя.

Сострадание героям «Реквиема» можно объяснить горячей религиозностью автора, понимание и всепрощение, кажется, превышающие мыслимый предел, рождаются ее сердцем, сознанием, чувством времени.

Ни одна вера не дает силы для того, чтобы понять, простить, тем более пережить гибель от рук режима одного и второго мужа, судьбу сына, сорок лет безгласия и преследований. Никакая Анна Горенко не смогла бы такого вынести; смогла — Анна Ахматова, при выборе псевдонима прямо провидевшая грядущее.

Бывают в истории времена, когда только поэзии под силу совладать с действительностью, непостижимой простому человеческому разуму, вместить ее в конечные рамки. В каком-то смысле за именем Анны Ахматовой стоял весь народ, чем объясняется популярность, что дало ей право говорить от имени всех людей и говорить с ними напрямую. Ее поэзия, читаемая, гонимая, замурованная, принадлежала людям. Она смотрела на мир сначала через призму сердца, потом через призму живой истории.

Стихи ее уцелеют независимо от того, опубликуют их или нет, потому что они насыщены временем, а язык древнее, чем государство, и просодия сильнее истории. Да и не нужна ей история, а нужен поэт — такой, как Анна Ахматова.